

Глава из воспоминаний Е. М. Феокистова.

С. В. Шумский.—А. Н. Островский.—Кружок «Молодого Москвитянина». — Аполлон Григорьев.—Семейства Баташевых и Шенселевых.—В. А. Сухово-Кобылин и его сын А. В. Сухово-Кобылин.

«Чтобы достойным образом писать историю, следует забыть о своей вере, о своем отечестве, о своей партии»,—сказал один старинный французский писатель, а другой пессимистически заметил: «Все историки обещают нам правду, и ни один не передаст ее без искажения». . . Мемуаристы, увы! могут быть беспристрастными еще менее, чем историки, даже при полном и искреннем желании рассказывать одну правду: так трудно, почти невозможно пишущему совершенно отрешиться от собственного «я», забыть о своей личности; автор всегда чувствует в том, что он пишет, и если он не исказит фактов, а излагает события вполне согласно с истиной,—он невольно придаст описываемым событиям и лицам, в них действующим, такую окраску, в какой они ему представляются в данный момент. . . И тем не менее,—писал 50 лет тому назад Ф. В. Чижов¹⁾, записки современников — «далеко не пустое развлечение: значение их гораздо выше и обширнее. Историческое повествование, как бы оно ни было подробно, передает и может передать только внешность всех сторон жизни; записки современников вливают в него душу и воскрешают жизнь давно былого». Часто, по меткому выражению К. Н. Бестужева-Рюмина, «в одной строке мемуаров разъясняется то, что остается неясным в целых фолиантах дипломатических нот и официальных бумаг», — одного слова, одного эпитета, приданного событию или лицу описателем-современником, одного мелкого на первый взгляд эпизода — бывает иногда достаточно для обрисовки живой фигуры, живого человека. В этом — великое достоинство мемуаров; но в этом и их опасность, если неукоснительно не иметь в виду личность самого автора, его умственный и нравственный склад; необходимо дать себе точный отчет в том, кто он был, — тогда можно смело пользоваться его записками, как

1) «Русск. Арх.» 1873 г., кн. I, стр. 165.

надежным историческим документом, часто — как первоисточником.

Имея в виду все эти соображения, мы, публикуя отрывок из Воспоминаний Евгения Михайловича Феоктистова (род. 1829, ум. 1898 г.) о Тургеневе ¹⁾, сочли необходимым предпослать этому отрывку довольно подробный очерк жизни и личности его автора ²⁾, — необходимый тем более, что в рассказах своих о Тургеневе и о В. П. Боткине он выказал себя настолько небеспристрастным, что несколько мест воспоминаний, особенно неприятных и несправедливых по отношению к обрисовываемым лицам, редактор Сборника признал нужным опустить при печати...

Отсылаем интересующегося читателя к указанному очерку нашему о Феоктистове, облик которого, впрочем, довольно четко вырисовывается и из печатаемого ниже второго отрывка его Воспоминаний, хранящихся в Пушкинском Доме. Прибавим здесь, однако, в дополнение к сказанному, что незаурядная личность Феоктистова еще в молодые годы обратила на себя внимание колкого Щербины, который внес его имя в свой «Сонник современной Русской литературы», составленный еще в начале 1850-х годов: «Каткова, Леонтьева, Коршей, а также и Феоктистова и всю эту учено-литературную мелюзгу «Русского Вестника» [во сне видеть]», — желчно писал Щербина в длиннейшей тираде, — «предвещает щеголять перед невеждами прививным умом из разных Германских брошюр и фолпантов, не зная России, смотреть на нее из Гёттингенского окошка или из предместия св. Антония, вопить о своей добросовестности и о какой то глубине мыслей с примесью гордого Байронического презрения ко всему, что не подходит под наш узкий взгляд», и т. д. и т. д. ³⁾. Лет десять спустя, тот же Щербина написал на него (21 января 1865 г.) уже самостоятельную эпигramму, в которой отметил неустойчивость убеждений Феоктистова по поводу участия его в Комиссии, занимавшейся реформой законодательства о печати: ⁴⁾

Не сердись, пришлось к слову,
И тебя я упрекну:
При сочувствии к Каткову
Служишь ты Головнину,
Для такого ж человечка
Казнь народная строга,—
Говорят: «он богу свечка,
Да и чорту кочерга»...

1) Тургеневский Сборник. Под редакцией А. Ф. Кони, № 1921, стр. 155—195.

2) Назв. соч., стр. 155—160.

3) См. «Русск. Арх.» 1904 г., кн. III, стр. 377—378.

4) «Русск. Стар.» 1907 г., № 8, стр. 265.

Приведем, наконец, еще одну эниграмму на Феоктистова, относящуюся уже к 1883 году, когда он был назначен Начальником Главного Управления по делам печати, и принадлежащую перу неизвестного автора:

Островский Феоктистову
На то рога и дал,
Чтоб ими он неистово
Писателей бодал,—

при чем соль эниграммы заключалась в намеке на близкие отношения, будто бы существовавшие между женою Феоктистова и Министром государственных имуществ М. Н. Островским, который содействовал назначению Феоктистова на этот важный пост ¹⁾. Впрочем, последнее обстоятельство едва ли не злостная сплетня; что же касается Феоктистова, то за 13 слишком лет его управления цензурным ведомством Русская литература вовсе уж не так сильно страдала от цензурных гонений, как при его преемниках: Феоктистов был человек очень образованный и просвещенный и не отличался изуверством.

Возвращаясь к самым Воспоминаниям Феоктистова, повторим здесь то, что мы сказали о них раньше, в «Тургеневском Сборнике», — а именно, что они представляют несомненный интерес и историко-литературную и историко-бытовую ценность и значение, хотя, скажем вновь, к ним и следует подходить с известною долей осторожности и критики: в той или иной степени они несут на себе отпечаток личности автора и, отдаленные большим пространством времени от эпохи, которую описывают и о которой повествуют, отражают ту перемену, — если не взглядов, то настроений, — какую пережил Феоктистов, как и каждый мыслящий человек, испытывающий много разочарований на пространстве прохождения жизненного пути. На Воспоминаниях Феоктистова (они писаны в 1887 году, когда автору их было около 60 лет) такая перемена сказалась, к сожалению, слишком заметно и — не в пользу автора: впечатления, полученные им в молодые годы, согретые молодыми восприятиями и надеждами, преломились сквозь призму долгой и довольно сложной жизненной и служебной карьеры, которую ему пришлось проделать, — и в результате местами получилось некоторое, столь свойственное преклонным летам недовольство настоящим и прошедшим, осуждение того, что прежде казалось таким симпатичным, близким, дорогим: картина, через дымку скептицизма и житейского опыта, стала являться умственному взгляду автора иною, вызывать в нем не только сомнение, но и прямое осуждение...

1) «Голос Минувшего» 1919 г., № 4—4, стр. 60.

Однако, со стороны содержания, печатаемая нами ныне глава Воспоминаний Феоктистова представляет большой интерес и значение, передавая много любопытных фактов и черт из жизни целого ряда крупных людей, с которыми автор был долго и близко знаком. Литературы и театра касаются его рассказы об Островском и его знакомцах и друзьях, об авторе «Свадьбы Кречинского» — Сухово-Кобылине и об артисте Шумском; значительный бытовой интерес являют очерки оригинальных семейств богачей Баташевых, Шепелевых и Сухово-Кобылинных; попутно упоминается целая галерея деятелей второстепенных. Изложение повествования — вполне литературное, автор их обладал определенным талантом писателя и знал, что и как рассказывать.

Б. Модзалевский.

В самом начале пятидесятых годов случилось мне однажды быть в Московском Малом театре. Шла какая-то переводная с французского пьеса. Афиша гласила, что главную роль будет исполнять Шумский ¹⁾ — артист совершенно неизвестный; по крайней мере мне, хорошо знавшему всю труппу, никогда не приходилось о нем слышать. Уже это заставляло относиться к нему недоверчиво, а когда появился он на сцене, то первое впечатление было не в его пользу. Хотя держался он очень свободно, но обладал далеко не звучным голосом и сильно шепелявил. По мере того, однако, как развивалось действие, он заставил забыть все свои недостатки и, по окончании пьесы, публика была в полном восхищении. Все поняли, что видят пред собой первоклассного артиста.

Через несколько времени после этого не редко встречался я с Шумским у И. С. Тургенева, который предоставил ему главную роль в своей пьесе «Провинциалка» ²⁾. Здесь завязалось наше знакомство, перешедшее очень скоро в тесную дружбу.

Шумский, родившийся от очень бедных родителей, получил воспитание в Московской театральной школе. По рассказам его, почти тотчас по вступлении в это училище развилась в нем не-

1) Сергей Васильевич Шумский (по рождению — Чесноков), сын мещанина, родился в 1820 г. в Москве; учился в Театральном Училище под руководством Щепкина, окончил курс в 1843 г., с 1845 г. играл в Одессе, в 1851 г. вернулся в Москву и с успехом выступил в водевиле «Ветренянки или все против мужа»; с неизменным успехом играл до смерти своей в 1878 г., особенно в пьесах Островского, Писемского и др. Шумского очень ценил и высоко ставил Ап. Григорьев.

2) Комедия в 1 действии, напечатана в «Отеч. Зап.» 1851 г., кн. 1; отд. изд. 1860, С.-Пб.; поставлена на сцене в Москве.

преодоливая страсть к театру; вместе с тем рано обнаружились в нем и другие артистические наклонности, между прочим любовь к музыке, в которой не удалось ему, однако, — не по его вине — достигнуть больших результатов. Нашелся какой-то добряк, музыкальный учитель, который заинтересовался способностями мальчика, и Шумский ходил к нему в свободные часы учиться. Как-то вдруг, пред самым началом спектакля в Малом театре, понадобилось заменить в пьесе заболевшего воспитанника театральной школы другим; потребовали Шумского, а он, не испросив разрешения начальства, отлучился на урок музыки; следствием этого была такая жесточайшая порка, что он всегда вспоминал о ней с ужасом; разумеется, музыкальные занятия прекратились; впрочем, и после этого Шумский почти самоучкой предавался им и играл довольно порядочно на фортепиано.

Вскоре по выходе своем из школы отправился он в Одессу. Объяснял он мне это тем, что на Московской сцене было бы ему трудно сразу проложить себе дорогу, что, быть может, в течение некоторого времени пришлось бы ему довольствоваться второстепенными ролями, а он стремился к гораздо более видному положению. Материальные расчеты отодвигались при этом на второй план; главным образом имел он в виду работать над самим собой, развить те способности, которые ясно сознавал в себе. И действительно, по словам его, пребывание на юге было для него временем неустанного, упорного, утомительного труда, который увенчался блестящим успехом. По возвращении своем в Москву он нашел ревностного покровителя в М. С. Щепкине, который даже приютил его у себя дома, — впрочем не помню, в это ли время или еще прежде, по выходе из Театрального Училища. Известно, с каким искренним участием относился Щепкин ко всякому таланту; эта была вполне доброжелательная натура, и влияние его на всю труппу было в высшей степени благотворно. Иначе не могло и быть: умом он неизмеримо превосходил своих товарищей; беседовать с ним было истинное наслаждение во-первых потому, что воззрения его на искусство, которому он посвятил свою жизнь, отличались замечательной глубиной и оригинальностью, а во-вторых у него был неистощимый запас рассказов о всем, что приходилось ему видеть и испытать на своем веку, и каждый из них умел он облечь в художественную форму, так что эти рассказы навсегда запечатлевались в памяти!

Блестящее то было время нашего театра! Едва ли когда-нибудь все образованное общество относилось к нему с таким глубоким и осмысленным интересом. Между тем репертуар — оригинальный, а не переводный — был крайне скуден; помимо великих произведений Грибоедова и Гоголя, не находилось в нем почти ничего, что возвышалось бы над уровнем посредственности, и это до тех пор, пока не выступил на сцену Островский

с комедией «Банкрут», переименованною потом в «Свои люди сочтемся»¹⁾.

Я познакомился с ним вскоре после того, как его имя прогремело в литературе. Нельзя сказать, что бы в то время производил он приятное впечатление. Обаяние его таланта было так сильно, что всякий, еще не видав его, готов был отнестись к нему весьма симпатично, но многие порядочные люди тотчас же разочаровывались в нем. Прежде всего [неприятно] отталкивала среда, в которой он вращался и которая составляла излюбленное его общество. Я понимаю, что среда эта была для него необходима, ибо она представляла обилие типов, которыми он пользовался для своих произведений; если бы чуждался он этого «темного царства», то не находил бы пищи для своей наблюдательности, никогда не удалось бы ему изобразить с такою поразительною верностью этот своеобразный мир, столь мало известный образованным слоям общества. Но для Островского этот мир имел сам по себе обаятельную прелесть, Островский находился там совершенно в своем элементе. Почти ежедневно можно было его видеть в известной кофейной Печкина²⁾ и кроме того каждую неделю собирал он у себя толпу своих приятелей. Тут были и провинциальные актеры, и кушцы, и мелкие чиновники с распухшими физиономиями, — и весь этот сброд, купно с литераторами, предавался колоссальному, чудовищному пьянству.

Биография любого из ближайших друзей Островского — Аноллона Григорьева³⁾, Рамазанова⁴⁾, Алмазова⁵⁾, Эдельсона⁶⁾, Немчинова⁷⁾, Шаповалова⁸⁾ весьма однообразна; каждый из них,

1) Обработывалась в 1846—1850 гг., напечатана в 1850 г., на сцене поставлена лишь в 1863 г.

2) Известный еще с 1830-х годов «Железный трактир» или кофейная Печкина в Москве упоминается во многих литературных воспоминаниях: см., напр., «Русск. Стар.» 1880 г., № 10, стр. 314; 1884 г., № 10, стр. 55, 59; 1887 г., № 2, стр. 279 и № 9, стр. 651; 1905 г., № 1, стр. 123; о нем же специальная статья А. Д. Галахова: «Литературная кофейня в Москве тридцатых и сороковых годов» — «Русск. Стар.» 1886 г., № 4, стр. 181—198 и № 6, стр. 691—724; выведен он и в романе В. А. Вонярярского «Магистр», и в романе Писемского «Масоны».

3) Знаменитый критик.

4) Скульптор, историк искусства Николай Александрович Рамазанов (род. 1817 г., ум. 1867), преподаватель, а затем профессор Московского Училища живописи и ваяния; одно письмо к нему Островского опубликовано нами в Сборнике памяти Островского, изд. Пушкинского Дома, стр. 215; в 1850 г. Рамазанов вывезил бюст Островского и подарил его писателю (там же, стр. 315).

5) Известный поэт-сатирик, член «молодой редакции» «Москвитянина» Борис Николаевич Алмазов (род. 1827, ум. 1876).

6) Евгений Николаевич Эдельсон (род. 1824 г., ум. 1868) — критик, сотрудник «Москвитянина» и др. журналов.

7) Актер Московского театра, умерший 8 октября 1861 г.

8) Николай Праклевич Шаповалов (ум. 1872 г., на 43 г.), член «молодой редакции» «Москвитянина».

еще в сравнительно молодые годы, сходил в могилу от одного и того же недуга — от *delirium tremens*. Пьянство соединяло всех, пьянством щеголяли и гордились. Неоднократно посещал я вечерние собрания А. Н. Островского; конечно встречались там люди веселые и не лишённые юмора, хотя и довольно грязного; одно из видных мест между нами занимал музыкант Дюбюк ¹⁾, выпивший на своем веку столько вина, что в этом отношении все охотно признавали его превосходство над собой. Между прочим рассказывал он, что как-то в Воспитательном доме умер учитель музыки, и начальница г-жа Цеймарн ²⁾ была очень озабочена приисканием ему приемника. Кто-то указал ей на Дюбюка. Она пригласила его к себе и сразу порешила с ним дело, но на другой же день пришла в ужас.

«Помилуйте», говорили ей, «ведь Дюбюк пьяница, самый безобразный человек, он будет являться на уроки в таком виде, что вы не избегните скандалов». Снова посылает г-жа Цеймарн за Дюбюком и сильно сконфуженная объясняет ему, что по разным причинам изменила свое намерение.

«Понимаю, сударыня, отвечал Дюбюк, вероятно кто-нибудь сказал вам, что я пью».

«Действительно, ходят слухи, будто вы страдаете этим недугом».

«Это правда, но если для занятия места в вашем заведении требуются прежде всего воздержание и трезвость, то я могу указать вам на человека, который не только не пьет, но даже ничего не ест: это митрополит Филарет ³⁾; к сожалению он музыки не знает».

Можете себе представить физиономию г-жи Цеймарн!

Дюбюк выдавался своим талантом; то же следует сказать о Григорьеве, Эдельсоне, Алмазове, — людях образованных и обладавших не дюжинными способностями; несчастье их состояло в том, что они прожгли свою жизнь, затопили ее в вине; уцелел и вышел впоследствии на другой путь Тертый Филиппов ⁴⁾ — личность в высшей степени отвратительная, святоша, ханжа, что не мешало ему быть карьеристом; человек, который способен был

1) Александр Иванович Дюбюк (род. 1812, ум. 1897 г.), учитель и профессор на фортепиано и композитор, ученик Дж. Фильда, о котором и оставил воспоминания, напечатанные в «Книжках Недели» за 1892 г., № 12, стр. 7—20.

2) Гликерия Алексеевна фон-Цеймерн (род. 1785, ум. 1853 г.), рожд. Сверчкова, была начальницею Сиротского Института при Московском Воспитательном Доме.

3) Про Филарета Дроздова, отличавшегося строгостью, говорили, что он съедает в день лишь одну просфору и одного священника...

4) Тертый Иванович Филиппов (род. 1825, ум. 1899 г.), впоследствии Государственный Контролер, сенатор, писатель; носил почетное звание «спитропа Гроба Господня».

проинкнуты неистовою злобой и преследовать самыми возмутительными клеветами всякого, кто умышленно или даже без умысла затрагивал его непомерное самомнение и тщеславие. Таковы были корифеи; всё остальное, как сказано выше, — ничтожество в полном смысле слова. И те, и другие безбожно льстили Островскому, расточали ему грубую лесть, а это, при его самолюбии, действовало на него очень дурно. Не мало повредило это и его таланту.

Он не довольствовался тем, что написал комедию, отличающуюся яркими достоинствами, совершенно справедливо списавшую ему почетную известность. Его уверяли (и сам он верил этому), что с именем его связан коренной поворот в литературе. Ревностным проповедником этого явился Аполлон Григорьев¹⁾. Вот тоже оригинальная фигура! Это был бесспорно человек умный, много читавший, талантливый, но с беспутною головой и еще с более диким и беспутным характером. Пьянствовал он неистово и сползал жену свою, сестру Валентина Корша²⁾, о котором я уже имел случай говорить выше; эта несчастная женщина погибла ужасною смертью — она сторела, заснув в пьяном виде с зажженной папиросой, от которой вспыхнул пожар в ее комнате. Супруг ее вечно находился в необузданном экстазе; если овладевало им какое-либо направление, то в увлечении своем он как бы терял рассудок. То являлся он отчаянным демократом и революционером, с нафосом восклицая:

И будь сам бог аристократ,
Ему б я гордо пел проклятья,
Но на кресте распятый бог
Был сын толпы и демагог...

То вдруг с не меньшим ожесточением набрасывался на постное масло, служил молебны и посещал церкви. Как только Третия Филиппова обуяла набожность, Григорьев, находившийся тогда в другом настроении, тотчас же порвал с ним всякие сношения и даже перестал ему кланяться. Прошло уже не помню сколько времени, как встретились они однажды на улице. Григорьев чуть не бросился ему на шею.

«Ну объясни пожалуйста, Аполлон», сказал ему Филиппов, «зачем ты все это выкидываешь, — то отворачиваешься от меня, а то раскрываешь мне объятия?».

1) Об Аполлоне Александровиче Григорьеве см., между прочим, в издании Пушкинского Дома: «А. А. Григорьев. Материалы для биографии. Под редакцией Влад. Княжнина», СПб. 1917 г. и брошюру «Аполлон Григорьев. Биография и путеводитель по выставке в залах Пушкинского Дома. Составили М. А. Беляев и В. С. Спиридонов», СПб. 1922.

2) Лидия Федоровна Григорьева, сестра Валентина Федоровича Корша (род. 1828 г., ум. 1883 г.), известного журналиста и писателя, редактора «Московских», а потом «С.-Петербургских Ведомостей» и др. изданий; брак был несчастлив и супруги недолго жили вместе.

«Ах, любезный друг», воскликнул тот, «ведь стыдно и вспомнить, чем я был до сих пор, но во мне совершился спасительный переворот; поверишь ли, что теперь я даже самые дикие крайности Асоченского¹⁾ разделяю» (Асоченский служил тогда синонимом [церковного] изуверства). Как скоро Григорьев прикинул к кружку Островского, то под влиянием восторга от его комедии тотчас же закусил удила²⁾: Островский — один из тех гениев, которые родятся веками, Островский выше Шекспира, Островскому суждено сказать «новое слово» — вот что проповедывал он и что вместе с ним повторяли на все лады его приятели. «Новое слово», яко бы сказанное Островским, не сходило у них с языка. Что же подразумевали они под ним? По словам их, никого в такой степени, как Островского, нельзя было считать представителем правды и искренности в искусстве, представителем чистонародного направления в литературе, никто так верно не изображал [действительность] русскую жизнь, чуждаясь всякого рода тенденций. Но народными писателями не грешно было бы, кажется, считать и Пушкина, и Гоголя; если бы даже допустить, что по сравнению с ними Островский сделал шаг вперед, то это еще не давало права толковать об его мировом значении. Кружок людей, о котором я говорю, составил себе о народности довольно своеобразное понятие. Я уже упоминал выше, что «темное царство» отнюдь не претило Островскому и его друзьям; славянофилы, например, не скрывали своего нерасположения к высшим классам общества, которые будто бы были совершенно оторваны реформой Петра Великого от коренных начал русской жизни; славянофилы видели спасение России главным образом в народе, оставшемся верным вековым преданиям, но это не мешало им скорбеть о невежестве, в котором он погрязал, об его пороках и грубости его нравов. Поборники «нового слова» шли гораздо далее. Для них русская жизнь даже со всею своею грязью представляла нечто обольстительное. Островский — извольте ли видеть — доказал, «как глубока, широка и размашиста душа русского человека, который велик *даже во всех своих пороках*». Это было возведено в печать (см. статью Алма-

1) Виктор Ипатьевич Асоченский, известный мракобес, издатель журнала «Домашняя Беседа»; его любопытный портрет в 1922 г. поступил в Пушкинский Дом.

2) Особенно известна (неоконченная) статья А. Григорьева «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» (в № 3 «Москвитинца» 1855 г.); см. ее в издании «Полного собрания сочинений и писем А. Григорьева», под редакцией В. С. Спиридонова, т. I, С.-Пб. 1918, стр. 204 — 225 и объяснения к ней, стр. 334 — 344; запрещенное цензурой продолжение статьи опубликовано В. С. Спиридоновым же в «Ежегоднике Петроградских Театров», 1922 г., стр. 157 — 195, со статьей «Островский в оценке Григорьева,»; ср. в цитированной книжке Пушкинского Дома о Григорьеве, изд. 1922 г., стр. 16 — 17 и 39 — 40.

зова в «Москвитянина», а то ли еще приходилось слышать на вечерних беседах у Островского. «О западниках и говорить нечего, — мы их презираем, но и от славянофилов отделяет нас резкая черта; славянофилам хотелось бы почистить и пригладить парод, а мы берем его, как он есть; для нас и жулик получше любого заморского чухонца», — вопил Аполлон Григорьев. Нельзя было не возмущаться наглостью и цинизмом, с какими проповедывались подобные бредни; это было и гадко, и комично. В Москву приехала знаменитая Рашель¹⁾ и производила потрясающее впечатление своим талантом; и до сих пор, в старческие годы, вспоминая о ней, я нахожу, что ничего поразительнее не случилось мне видеть на сцене; для меня отнюдь не казались странными слова, сказанные однажды М. С. Щепкиным, что если бы встретил он человека, который остался бы совершенно равнодушен к Рашель, то не мог бы уважать его. Но такие люди нашлись в кружке Островского. Однажды Рашель играла лучшую из своих ролей — роль Федры; публика затаила дыхание, прислушиваясь к ее страстным монологам; вдруг раздался хриплый хохот. Это хохотал сидевший в креслах Шаповалов¹⁾, несчастный малый, допившийся до видений, до того состояния, когда человек беспрерывно отмахивается от мнимых жуков. По окончании акта его поспешили вывести, и на вопросы, чем вызвана была в нем столь неуместная веселость, он отвечал, что разве можно удержаться от смеха, видя, с каким старанием разыгрывает актриса ходульные и лишние всякой правды пьесы какого-то Расина. Ему хотелось бы, вероятно, чтобы Рашель попробовала свои силы в роли Липочки в комедии «Свои люди сочтемся».

После сказанного мною трудно объяснить то странное, по-видимому, обстоятельство, что хотя все признавали огромный талант Островского, но многие относились к нему недоброжелательно. Особенно обнаруживалось это со стороны людей, которых называли тогда западниками. С своей точки зрения они были правы: время было тяжелое, умственная деятельность

1) О пребывании Рашели в Москве (в 1853 — 1854 гг.) см., между прочим, в «Московских воспоминаниях» Н. В. Берга — «Русск. Стар.» 1884 г. № 10, стр. 69 — 71; там же и об отношениях Щепкина к Рашели и о их беседах через переводчика; в Парижском Пушкинском музее А. Ф. Онегина, принадлежащем Пушкинскому Дому, находится каллиграфически исполненный список «Скупого Рыцаря», в переплете и с иллюстрациями, подаренный Щепкиным Рашели в бытность ее в Москве, с надписью: «Госпоже

Рашель, великой художнице драматического искусства. Москва ^{Февр. 19} Марта 3 1854 г.» (см. Б. Л. Модзалевский, Описание рукописей Пушкина, находящихся в музее А. Ф. Онегина в Париже — «Пушк. и его соврем.», вып. XII, стр. 47).

2) См. выше.

подвергалась преследованию, а между тем люди, не имевшие никакого значения сами по себе, обращавшие на себя внимание только потому, что сплотились вокруг отличного писателя, которого одурманили выспренними похвалами, не задумывались кричать повсюду, что благороднейшие стремления общества не более, как вздор, и приглашали его заняться созерцанием прелестей русского человека, утопавшего в пьянстве и разгуле. Противники Островского старались насолить ему. Кетчер¹⁾ с иступлением покровительствовал некоему Гореву, который утверждал, будто комедия «Свои люди сочтемся» написана при непосредственном его участии, будто он имеет право считать себя его автором в такой же мере, как и Островский²⁾. Чтобы представить доказательства своего таланта, Горев читал свою собственную комедию, которая потом была напечатана в «Отечественных Записках»³⁾; я присутствовал при этом чтении у графини Салиас⁴⁾; сравнивать Гореву с Островским было бы просто смешно; страстные, однако, было так сильно, что не только Кетчер приходил от него в восторг, но даже П. Н. Кудрявцев⁵⁾ и А. Д. Галахов⁶⁾ ставили его на ряду с автором «Своих людей»!

Впоследствии брат драматурга М. Н. Островский⁷⁾ рассказывал

1) Николай Христофорович Кетчер (род. 1807, ум. 1886), приятель Белинского и других «людей сороковых годов», врач, известный своими переводами из Шекспира. Б. Н. Алмазов в своем «Литературном Маскараде» писал про него, заставлял его рекомендоваться публике.

Друзья, я всесторонний гений:
И литератор я, и врач,
И всех Шекспировских творений
Я вдохновеннейший толмач;
Но про меня в забаву мира
Сказал какой-то шелкопер,
Что будто я «всего Шекспира
Не перевел, а перепер».

Эту эпиграмму на Кетчера приписывали Тургеневу. Характеристику «дикаря» Кетчера см. в Воспоминаниях Феоктистова о Тургеневе, опубликованных нами в «Тургеневском Сборнике» Тургеневского Общества, Пб. 1921, стр. 163, 165.

2) Об этом см. обстоятельную статью М. Д. Беляева в сборнике «Памяти А. Н. Островского», изданном Петроградским Обществом имени А. Н. Островского, Пгр. 1923, стр. 70—88: «Газетная травля».

3) Комедия «Сплошь да рядом» — «Отеч. Зап.» 1856 г., № 7.

4) Об этом чтении рассказано, со слов графа Е. А. Салиаса (сына графини Е. В. Салиас — Евгении Тур), в статье А. А. Измайлова в ж. «Театр и Искусство» 1907 г. На чтении присутствовали Грановский, Кудрявцев, Кетчер, Ешевский, Корш и др.

5) Профессор Московского Университета Петр Николаевич Кудрявцев (род. 1816, ум. 1888), историк, критик, автор повестей.

6) Алексей Дмитриевич Галахов (род. 1807, ум. 1892) — историк литературы и критик.

7) См. о нем в Сборнике в честь Островского, изд. Пушкинского Дома.

мне, что отрицать всякое участие Горева в этой пьесе было бы не совсем справедливо; Горев постоянно вращался в купеческом мире, отлично знал его, у него был неиссякаемый запас анекдотов о разных Титах Титычах; в этом отношении он был очень полезен Александру Николаевичу, который советовался с ним даже о сюжете и разных подробностях пьесы; но чтобы создать ее требовался прежде всего талант, а талантом то Горев и не обладал.

В пятидесятых годах «Москвитянин» дошел до крайнего упадка, и чтобы поддержать его М. П. Погодин, истый кулак, задумал привлечь к себе кружок Островского. «Явился» — рассказывал потом А. Григорьев в журнале «Эпоха» — «молодой «Москвитянин», смелый, пьяный, но честный (?) и блестящий дарованиями» (?)¹⁾. Предоставляю историкам литературы решить, что именно было этим кружком сделано. Думаю, что ровно ничего. Много шума и задора, а в результате мыльный пузырь²⁾.

Все это относится к первым годам деятельности А. Н. Островского. С течением времени произошла в нем благоприятная перемена. Пьяные его друзья сошли в могилу, о прежнем разгуле не было и речи; но разгул оставил на нем неизгладимые следы; надо было обладать большим искусством, чтобы сломить эту атлетическую [исполинскую], натуру, а между тем организм его был сильно потрясен, — и еще задолго до своей кончины вливал он жалкое существование. Александр Николаевич был по преимуществу художник, неспособный увлекаться теориями и тенденциями; вот почему он очень скоро не только освободился от бредней, навязанных ему А. Григорьевым, Т. Филипповым и т. п., но чувствовал себя как нельзя лучше, очутившись в совершенно противном лагере. Если бы статья Добролюбова о «темном царстве» появилась в печати пятидесятых годов, то сильно поколебала бы его, но позднее он приходил от нее в восторг. Многие несимпатичные черты его характера сохранились в нем: попрежнему неприятно действовало крайнее самомнение, заставлявшее его прибегать даже к хвастовству, попрежнему упивался он фимиамом, расточаемым ему близкими людьми; но вообще ум сильный и самостоятельный, хотя и чуждый культуры, спасал его. Он старался много читать, беседа с ним о драматической литературе и театре была в высшей степени поучительна. К сожалению сочинительство перешло у него на последок в какое-то ремесло; каждый год плодил он по обширной пьесе и о некоторых из них, например, о пресловутом «Красавце-мужчине», можно было только пожалеть, что он появился в свет. Что было бы, если бы Островский, вместо множества комедий и драм, оставил по себе не более

1) «Эпоха» 1864 г., № 9, стр. 45. Б. М.

2) О Молодой редакции «Москвитянина» см. статью С. А. Венгерова в «Вестнике Европы» 1896 г., № 2.

пяти или шести, отделявая их так же внимательно, относился к ним так же строго, как к первому крупному своему произведению «Свои люди сочтемся»! То были бы действительно перлы нашей литературы.... В оправдание Александра Николаевича я должен указать еще на одно обстоятельство, служащее к его чести: он не имел вовсе состояния, за исключением маленькой деревеньки в Костромской губернии в совместном владении с братом; нигде он не служил и вынужден был содержать семью только литературным трудом. По неволе приходилось ему прибегать к непосильному писательству. Конечно брат его Михаил Николаевич, занимавший видные должности в администрации и сделавшийся потом министром, считал бы не только долгом, но даже истинным для себя наслаждением прийти к нему на помощь; многолетняя тесная дружба связывала меня с этим человеком, выше которого я не знал никого по нравственным достоинствам, чистоте помыслов и добросовестному исполнению долга. Так сердечно относился он ко всякой нужде, что любимый его брат никогда не встретил бы у него отказа; но он сам мне рассказывал, что Александр Николаевич пользовался его услугами в весьма редких случаях, как, например, для содержания своих детей в учебных заведениях, да и то надо было навязывать ему эту помощь почти насильно: он всегда указывал, что другие их родственники, особенно племянницы, находятся в еще более стесненном положении.

С отличавшею его в прежнее время нетерпимостью А. Н. Островский не мог быть беспристрастен в оценке артистов. Он восторгался только теми из них, которые являлись на сцене верными истолкователями создаваемых им типов. С этой точки зрения Садовский¹⁾ был для него все; впоследствии — и совершенно основательно — ставил он на ряду с ним Мартынова²⁾ и Сергея Васильева (Московского)³⁾. То были действительно громадные таланты. Но никак нельзя оправдывать недоброжелательство, с каким относился он, например, к Щепкину; для этого превосходного артиста почти вовсе не находилось ролей в его репертуаре, — роль купца Большова в комедии «Свои люди сочтемся» предоставил он ему лишь по необходимости и долго колебался между ним и Петром Степановым⁴⁾: он не признавал в нем непосредственного таланта. Понятно, что еще несравненно строже

1) Пров Михайлович Садовский (род. 1818, ум. 1872), знаменитый артист Московского Малого театра.

2) Александр Евстафьевич Мартынов (род. 1816, ум. 1860), знаменитый Петроградский артист-комик.

3) Сергей Васильевич Васильев (род. 1827, ум. 1862), актер Московского Малого театра.

4) Петр Григорьевич Степанов (род. 1800, ум. 1869), второстепенный Московский актер.

относился он к Шумскому. Впрочем и от многих других приходилось мне слышать такое мнение, что это был по преимуществу артист умный, достигший блестящих успехов не столько дарованиями, сколько умом. Суждения такого рода всегда казались мне не совсем основательными, ибо, зная очень близко Шумского и при всем моем к нему расположении, я никогда не причислял его к разряду людей умных. Не говоря уже о других сферах, недоступных ему по недостатку развития и образования, он даже и в области драматического искусства отличался странною путаницею понятий. Судил о своих ролях гораздо хуже, чем разыгрывал их, и когда полагался на свои суждения, то ничего у него не выходило. Приведу пример: захотелось ему выступить в роли Чацкого и долго трудился он над ее изучением. «Наконец-то уяснилось мне», говорил он однажды, «что такое Чацкий; никто до сих пор не понимал его, потому что упускали из виду главный, жизненный интерес, руководивший им».

«Какой же именно?»

«Чацкого изображали на сцене блестящим резонером, пылким обличителем закорючатых понятий и нравов общества; от того он и казался всегда ходульным лицом; от артиста требовалось только, чтобы он искусно произносил известные монологи. Но Чацкий прежде всего человек страстно влюбленный; все его помыслы сосредоточены на Софье; в жизни нет для него ничего выше, как внушить ей взаимность; если бы обращено было на это внимание, если бы Чацкий-обличитель был отодвинут на задний план, а на первом выступил Чаудкий, глубоко страдающий от любви, то он получил бы вполне определенную физиономию, и я постараюсь это сделать».

Шумский так задался этою мыслью, что не хотел слушать никаких возражений. В роли Чацкого он не имел успеха. Некоторые промахи его объясняются так же и тем, что вообще он питал непреодолимую [страсть] склонность к сильным патетическим ролям, которые вовсе не были в его средствах. «Чувствительность и огонь, говорит С. Т. Аксаков, «составляют основные, необходимые стихии таланта драматического»: к сожалению, именно этими свойствами и не отличался Шумский; он не мог ни растрогать зрителя, ни возбудить в нем содрогания, а между тем, как бы ему этого хотелось! Излюбленными его пьесами были те, в которых представлялась ему возможность испробовать хотя отчасти свои силы на столь недостигаемом ему поприще. Однажды дюжинный писатель Тарновский¹⁾ перевел с французского какую-то небольшую пьесу (не помню названия) и в утеху Шумскому, исполнив-

1) Константин Августинovich Тарновский (род. 1826, ум. 1892), помощник инспектора репертуарной части и секретарь при Директоре Московских театров (1854—1858), весьма плодовитый водевильист и драматург.

шему роль рабочего, вклеил в нее монолог из возбуждавшей в конце сороковых годов много шума драмы Феликса Пиа «Chiffonnier»¹⁾. Надо было видеть, в каком восторге был Шумский, — он всячески старался произнести монолог эффектнее, но в каждом слове слышалось искусственное напряжение. Я не видал его в роли Ивана Грозного (графа Алексея Толстого), но не думаю, чтобы он мог удовлетворительно справиться с нею. Вообще мы, его друзья, нередко трунили над ним, что когда он усиленно приглашал нас на какой-нибудь спектакль, то можно было знать заранее, что не доставит большого удовольствия; если же отзывался пренебрежительно о той или другой из своих ролей, то приводил в восторг публику. Впрочем, неудачи были лишь редкими исключениями в его артистической карьере. По свойству своего таланта он был создан для так называемой *haute comédie*: тут игра его отличалась редким изяществом и смыслом, и какое при этом разнообразие! Что бы ни говорили строгие его судьи, одним умом нельзя было достигнуть такого совершенства, или уж ум этот был [совершенно] особого свойства. Конечно, Шумский не мог сравниться, например, с Садовским, который, только что ознакомившись с ролью, тотчас создавал ее; Садовский получил комедию «Свадьба Кречинского»²⁾ лишь за два дня до того, как должен был читать ее у автора в небольшом кружке, и читал роль Расплюева почти совсем так, как исполнял ее потом на сцене. О Мартынове рассказывали анекдоты, еще более поразительные в этом отношении. Шумскому, напротив, было необходимо усиленно работать над каждой ролью. Застать его дома можно было утром после репетиции или вечером, когда он не участвовал в спектакле и всегда сидел с тетрадью в руках.

По временам, хотя редко, принимал он участие в публичных чтениях, для чего опять нуждался в продолжительной подготовке. Известно, что бывают разные манеры читать: уверяют, что самым блестящим представителем одной из них был Диккенс, который превращался при этом в актера и, читая разговор двух или трех лиц, изменял для каждого из них голос, жесты, чуть ли даже не физиономию, так что публика как бы присутствовала при сценическом представлении. Нечто подобное этому было и у Шумского. Только этим он и мог производить эффект, ибо, как замечено выше, произношение его не безупречно и не было у него юмора, который заставлял раздражаться смехом, когда, например, Садовский без малейших вычур и совершенно серьезно, даже несколько мрачно, читал какую-нибудь комедию. Вот это был действительно

1) Félix Pyat (род. 1810, ум. 1889) — известный драматург и политический деятель; его драма «Chiffonnier de Paris» (1847), написанная с политическим заданием, имела огромный успех.

2) А. В. Сухово-Кобылина.

великолепный чтец, но пальму первенства я отдаю все-таки А. Н. Островскому; по моему мнению никто, — ни Садовский, ни Щепкин, — не умел выставить так рельефно и с такой поразительной простотой разнообразные типы его произведений. Впрочем, он ограничивался только собственными произведениями; никогда не случилось мне слышать от него чего-либо другого.

Шумский сторонился вообще от своих товарищей по сцене. Они чуждались его, да и он не льнул к ним. С их стороны объясняется это тем, что, по установившемуся в театральном мире мнению, он будто отличался крайне неприятным характером и даже интригантством. Не знаю, в какой мере это справедливо, но в нашем кружке, — кружке нескольких его приятелей, не имевших с театром никаких связей, — он являлся человеком очень добродушным и симпатичным, хотя привычка толковать вкривь и вкось о чем угодно доводила его иногда до раздражительных и нелепых выходов. Была у него дочь, очень милая девушка, в которой он вдруг заподозрил талант и решился сделать из нее актрису. Для дебюта избрана была известная пьеса Островского «Бедная невеста»: Шумский на время забыл все в мире для того, чтобы подготовить дочь к исполнению главной роли; он работал с нею по целым дням, ему непременно хотелось, чтобы она сразу заняла видное положение на сцене, затмила бы своих соперниц, и благодаря его неимоверным стараниям она имела некоторый успех, — однако не надолго: нельзя было каждый раз и для каждой роли учить ее, как учат скворцов. В это время действительно Шумский напоминал Льва Гурыча Синичкина¹⁾, и быть может не без основания упрекали его в происках; но в театре обойтись без них трудно, и извинением для него служило родительское чувство. Неприязнь к Шумскому обуславливалась и другими причинами: в его привычках и наклонностях было мало общего с окружавшею его средой; он не любил кутежей, старался пополнить недостаток своих сведений чтением газет и журналов, усвоил себе внешний лоск и манеры, так что в любом обществе держал себя безупречно. Получал он очень хорошее содержание, которое не упускал случая пополнять в летнее время игрой на провинциальных театрах, тратил много денег на домашнюю обстановку, щеголял платьем, — все это не было, впрочем, прихотью, а скорее устанавливалось чувством изящного, которое было сильно развито в нем и проявлялось даже в мелочах.

По поводу Шумского я сообщил несколько сведений об А. Н. Островском; считаю не лишним остановиться здесь на другом писателе, далеко не столь крупного размера, в пьесе которого Шумский имел большой успех: «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина. Тут воспоминания мои — воспоминания весьма

1) Герой популярного водевиля Д. Т. Ленского.

отрадные — переносятся к Выксунским чугуноплавительным заводам, — имению Шепелевых, где отец Сухово-Кобылина был опекуном¹⁾.

Выксу часто посещал я в летнее время. Из Москвы лежал туда путь через Владимир и Муром; от Мурома по отвратительной песчаной дороге надо было ехать до р. Оки, а затем оставалось верст десять до Выксы. Здесь становилось еще хуже: глубокий сыпучий песок до самого поместья, так что лошади едва тащились; по сторонам — довольно жидкий сосновый лес, на всем печать какого то однообразия, наводившего тоску. Местоположение самой Выксы тоже не было особенно привлекательно. Я всегда страстно любил деревню, а Выкса представляла собой нечто среднее между деревней и городом; хорош был в ней только сад при барском доме — старинный, громадный и который в мое время содержался еще довольно исправно; сад этот был расположен с задней стороны дома; что касается передней стороны, то вид оттуда никак нельзя было назвать живописным: прямо перед окнами стояла домна, вечно топившаяся, огонь в которой не погасал даже в самые торжественные праздники, и застилавшая все своим дымом; по направлению к ней беспрерывно тянулись тележки, наполненные рудой; однообразный гул не прекращавшейся ни днем, ни ночью работы был невыносим. На Выксе нельзя было пользоваться именно тем, что составляет главную прелесть деревни, — прогулками; чтобы выйти в поле или рошу, надлежало совершить довольно длинное путешествие по улицам, да и затем на порядочном пространстве почва была изрыта ямами, так называемыми лудками, откуда извлекалась руда. Одно только приводило меня всегда в восторг, это — огромные пруды, настоящие озера, окаймленные лесом, но и они, по крайней мере живописнейшие их места находятся далеко от господского дома.

Основателями Выксунских заводов были в конце прошлого столетия двое братьев Баташевых²⁾. О старшем из них, Андрее Родионовиче, сохранились мрачные воспоминания; рассказывали, что это был умный и распорядительный, но крайне жестокий хозяин. В этом отношении он даже превосходил известного князя

1) Выксунский железный завод — на речке Выксе, в 30 верстах от г. Мурома, Владимирской губернии; принадлежал Тульским купцам Баташевым; о нем см. в «Географическом Словаре Российского Государства» Щекатова, т. I, М. 1801, ст. 1232.

2) Родословие старинного Тульского рода Баташевых см. в «Тульском Родословце» В. И. Чернопятава, ч. VI, стр. 42—44. Андрей (ум. 1799) и Иван (рол. 1741, ум. 1821) Родионовичи Баташевы указаны здесь под №№ 39 и 40. Подробнее о них см. в статье Ив. Родкевича в «Русском Биографическом Словаре», т. А — Б, стр. 566—569, а также в книжке П. П. Свинына: «Заводы, бывшие Баташева, а ныне принадлежащие Шепелеву», С.-Пб. 1826, и у Е. Карновича: Замечательные богатства частных лиц в России, С.-Пб. 1885, стр. 158.

Грузинского¹⁾, которого Мельников описал в своей повести «Старые годы». Он был грозой для окрестных помещиков, силою отнимал у них земли, а те, которые думали сопротивляться, подвергались неистовствам; жалобы и процессы не вели ни к чему, ибо и администрация, и местные судьи были закуплены Андреем Баташевым. Охотно верю этим рассказам: в одной из комнат Выксунского дома висел портрет его (жаль было бы, если он затерялся), в высшей степени характерный; Андрей Родионович представлен на нем в сером кафтане и длинном камзоле; густые нависшие брови придавали мрачный, зловещий оттенок его взгляду; нос орлиный и большой; все черты лица массивные и грузные; это была действительно физиогномия человека, способного на зверские подвиги²⁾. Жил Андрей Родионович истым магнатом; за столом его собиралась толпа гостей; он выезжал не иначе, как в карете, запряженной цугом, вокруг которых скакали в обшитых золотыми позументами кафтанах гайдуки. Старожилы уверяли меня, что когда отправлялся он на охоту, то не редко прихлебатели из мелкопоместных дворян исполняли у него роль гончих, усердно бегали за зайцами, — и горе тому из них, кто не захотел бы служить подобной забавой. Одно время я жил в той самой комнате, где красовался портрет Андрея Родионовича, и, пристально глядя на него, ощущал крайне неприятное чувство. Напротив, Иван Родионович представлял резкий с ним контраст: судя по его портрету, этот худощавый, почти тщедушный старик с колпаком на голове привлекал своим добродушием³⁾. Впоследствии между братьями произошел дележ: Андрей Родионович утвердил свое пребывание в Гусевском заводе, а Иван Родионович получил Выксу, которая и обязана была ему своим благоустройством. Когда, незадолго до моего первого приезда в это поместье, поставлен был в саду памятник с его бюстом, то толпы народа собрались на это торжество, и от стариков слышались добрые о нем отзывы...

Единственную наследницею Ивана Родионовича была его внучка Дарья Ивановна⁴⁾; никто не считал ее красавицей, но все

1) Князь Егор (Георгий) Александрович Грузинский, камергер, Нижегородской Губернский Предводитель дворянства, владелец богатого села Мыскова, известный булл и самогур, умерший около 1843 г. Его характеристику см. у князя П. М. Долгорукова: «Путешествие в Нижний в 1813 г.», М. 1919, стр. 95 и след., а также статьи в «Русск. Арх.» 1899 г., кн. II, стр. 117—132 и 453—455 и кн. III, стр. 454—464 и 632—633.

2) Описание портрета А. Р. Баташева и образа жизни этого дикого человека дает также и Т. Толычева в статье своей о Выксунских Баташевых — в «Русск. Арх.» 1871 г., кн. II, ст. 2116.

3) Описание портрета его, Т. Толычевой, см. там-же, ст. 2117.

4) Дочь Ивана Ивановича Баташева от брака его с Резвой (см. «Русск. Арх.» 1871 г., кн. II, ст. 2117); она умерла 22 августа 1818 г., на 25 г. (Моск. Некрополь, т. III, стр. 342).

находили ее миловидной, а если принять в расчет, что в приданое за собой приносила она Выксунские заводы с несколькими тысячами крепостных крестьян, то очень понятно, что не было недостатка в искателях ее руки. Успех оказался на стороне Дмитрия Дмитриевича Шепелева. От родственников его я слышал, что будто брак состоялся при романических обстоятельствах: Шепелев, служивший в гусарах и порядочно промотавшийся, поселился где-то поблизости Муромы или в этом городе, завязал оттуда сношение с нянюшками и мамушками Дарьи Ивановны, не жалел для них подарков, еще щедрее сулил им золотые горы впереди, а они на все лады восхваляли его богатой наследнице. Когда почва была достаточно подготовлена, Шепелев поехал куда-то через Выксу и пред самым домом — разумеется согласно заранее составленному плану — коляска его опрокинулась, и он притворился, что шибко ушиб себе когу. На Выксе, где были рады всякому заезжему гостю, приняли его с распростертыми объятиями, а он не спешил отъездом и успел так пленить Дарью Ивановну, что она согласилась выдти за него замуж. Сухово-Кобылин, отец писателя, тогда еще очень молодой человек, присутствовал на роскошной свадьбе и рассказывал мне, что ему пришлось тогда слышать от старика Ивана Родионовича следующие слова: «По смерти моей я оставляю зятю несколько чугуноплавительных заводов, 17.000 душ крестьян и полтора миллиона денег; при таких средствах если бы даже и захотел он разориться, то не сумеет».... Как ошибочно, однако, оказалось это предсказание! Дмитрий Дмитриевич был человек взбалмошный и пустой; о хозяйстве не имел никакого понятия, да и не обнаруживал желания сколько-нибудь серьезно заниматься им; вся задача его состояла в том, чтобы, — как выражается герой одной из комедий Островского, — «прожить с эффектом»; деньги беспутно сыпались направо и налево; зимой угощал он всю Москву в своем громадном доме на Швивой горке (построенном Иваном Родионовичем), а летом такой же разгул продолжался в деревне. Однажды недалеко от Выксы проходил гусарский полк: Шепелев устроил так, что его поместье избрано было стоянкой для этого полка, и в течение нескольких дней происходило там непрерывное и безумное пиршество, — такое пиршество, что воспоминания о нем сохранились надолго и самое поле за парком Выксунского дома, где расположены были палатки солдат, получило название «гусарского». При Дмитрии Дмитриевиче Выкса сделалась чем-то в роде постоянного двора, где мог останавливаться и кутить всякий, кто умел забавлять хозяина¹⁾.

1) Дмитрий Дмитриевич Шепелев был генерал-лейтенантом; в 1814 г., 28 января, он был награжден орденом Владимира 2 ст.; время смерти его нам неизвестно.

Впрочем, разорение произошло не при Дмитрие Дмитриевиче. Он только положил ему начало, хотя и весьма солидное.

У него были две дочери и два сына: одна из дочерей, Анна Дмитриевна, вышла замуж за князя Льва Григорьевича Голицына, а другая, Елизавета, — за графа Ивана Павловича Кутайсова, внука известного фаворита императора Павла. Сыновья, Иван и Николай Дмитриевичи, воспитывались в каком-то военном училище, затем поступили в гвардию, а по смерти отца вышли в отставку и избрали Выксу своим постоянным местопребыванием ¹⁾.

Вот тут то и началось нечто невероятное. Я не знаком с историей рода Шепелевых ²⁾; весьма возможно, что в былое время этот род выставил нескольких полезных и отличавшихся заслугами дворян, но на тех представителях этой фамилии, которые в описываемое время известны были мне лично, лежал особый отпечаток. Это были большею частью люди умные и даже даровитые, но из ума и дарования их как-то не выходило ровно ничего; почему то они никогда не умели приладиться к серьезному делу, а если занимались чем-нибудь, то всякая деятельность принимала у них уродливое направление. В любом из них проявлялись черты болезненной раздражительности, и фантазия преобладала над разумом. Наглядным примером этого могли служить, между прочим, сыновья Дмитрия Дмитриевича, с тем различием, что старший из них, Иван, через свою мать, унаследовал кровь, текущую в жилах Андрея Родионовича Баташева. Он сделался полновластным распорядителем своих огромных имений, не допуская ни малейшего вмешательства со стороны своего слабохарактерного брата Николая Дмитриевича. Чтобы составить себе понятие об его изумительных причудах, достаточно было, помимо рассказов разных лиц, довериться только собственным глазам. Так, например, всякий, приезжавший на Выксу, не мог не удивляться, что хотя барский дом представлял огромное трехэтажное здание и что в этом доме удобно поместился бы целый десяток семейств, Иван Дмитриевич пристроил к нему обширный каменный флигель. Внутренность этого помещения была крайне оригинальна: окна из разноцветных стекол, вследствие чего в комнатах царил таинственный полусвет; вся мебель в восточном вкусе, — полное отсутствие стульев, а только турецкие диваны, покрытые коврами; в некоторых комнатах устроены были потаенные лестницы в нижний этаж. Дело в том, что Иван Дми-

1) Много рассказов о братьях П. Д. и Н. Д. Шепелевых, их театре и оркестре см. еще в любопытных воспоминаниях Н. Я. Афанасьева в «Истор. Вестн.» 1890 г., № 7, стр. 38 и след.; поправку к ним упомянутой княгини А. Д. Голицыной, рожд. Шепелевой, — там-же, № 10, стр. 235 — 236, и «Русск. Арх.» 1871 г., кн. II, стр. 2117 — 2118.

2) Их родословие см. в «Русской Родословной Книге» князя А. Б. Лобанова-Ростовского, т. II.

триевич, особенно в последние годы своего хозяйничанья на Выксе, любил воображать себя султаном; иногда носил он даже турецкий костюм, чалму и принимал гостей не иначе, как сидя на диване с поджатыми ногами; или же совершал он торжественные выезды в таком же костюме, верхом, а за ним следовало несколько лакеев, у которых для сходства с настоящими арапами лица были вымазаны чем то черным. Где-нибудь в поле раскидывали великолепный шатер, и Иван Дмитриевич, окруженный крепостными одалисками, проводил тут несколько дней, разыгрывая роль восточного властелина. Все это рассказывал мне его beaufrère, добродушный, но глупый граф Иван Павлович ¹⁾, тщетно пытавшийся образумить своего взбалмошного родственника. На одной из окраин Выксунского сада красовался театр. Можно сказать положительно, что даже в лучших из губернских городов не встречались подобные театры; декораций и костюмов было множество; зала для зрителей с ложами и партером отличалась изяществом; на сцене устроены были люки, — это потому, что на Выксунском театре давались не только драмы и комедии, но оперы и балеты; между прочим в «Цампе» сам Иван Дмитриевич, обладавший хорошим баритоном, исполнял главную роль; балетмейстером его был одно время Иогель ²⁾, известный всей Москве учитель танцев; многочисленный оркестр сформирован был на славу; окрестные помещики толпой съезжались на театральные представления, так что иногда зала не могла вместить всех посетителей.

Натура Ивана Дмитриевича была артистическая; он занимался рисованием, лепными работами, скульптурой, сочинял планы для возводимых им зданий, но во всем этом обнаруживал лишь способности дюжинного дилеттанта. Главный же интерес представлял для него театр. До какого сумасбродства доходил он в этой своей страсти, свидетельствует между прочим следующий факт: однажды вечером, когда на сцене шла какая-то опера, главный управляющий явился к нему в ложу со страшным известием, что загорелась домна. Всякий, сколько-нибудь знакомый с чугуноплавильным делом, может понять важные последствия этого события. Вместо того, чтобы отправиться на место пожара, Иван Дмитриевич распорядился никого не впускать в театральную залу, чтобы тревожный слух не смутил публику и чтобы не было прервано представление. Он сам присидел на месте до конца, всецело

1) Кутайсов.

2) Известный всей Москве в 1810—1820-х годах танцмейстер и строитель балов Петр Андреевич Иогель (ум. 16 января 1855 г., 87 лет от роду); он упоминается в «Войне и Мире»; см. о нем: «Русск. Арх.» 1881 г., кн. I, стр. 251; 1901 г., кн. II, стр. 433; 1903 г., кн. I, стр. 153—154; «Русск. Стар.» 1895 г., № 12, стр. 144; 1899 г., № 1, стр. 18; 1913 г., № 1, стр. 124; «Московский Некрополь», т. I, стр. 513.

поглощенный тем, что происходило на сцене. Репетиции посещал он с примерной аккуратностью и зорко следил за актрисами, своими фаворитками; как-то случилось ему перехватить записку, которую одна из них передала капельмейстеру Уланову. Иван Дмитриевич приказал посадить этого несчастного в «секретную», а на другой день сделалось известным, что Уланова уже нет в живых, что он умер будто бы от апоплексического удара. Если бы произошло это в конце прошлого столетия, то не показалось бы необычайным, но удивительно, что в царствование Николая Павловича подобный случай не вызвал ни следствия, ни суда, а между тем меня уверяли, что он не подлежит сомнению.

Бывали минуты, когда Иван Дмитриевич превращался в лютого зверя; жестокость его принимала даже дьявольски-утонченный характер. Он убедился, между прочим, что один из его управляющих нагло обманывает его. Надо заметить, что управляющий этот уже составил себе порядочное состояние, жил очень прилично и озаботился поместить в какое-то учебное заведение в Москве своего сына. Мальчик только что приехал тогда домой на вакационное время. Он то и сделался жертвой Ивана Дмитриевича, который подвергнул его жесточайшему истязанию розгами в присутствии родителей на том основании, что они души в нем не чаяли, и что мучения, испытываемые им, были для них чувствительнее всякого наказания, какое мог бы он придумать для них самих. Эта адская изобретательность достаточно ясно указывает на ненормальное состояние его умственных способностей. Мой друг П. Н. Кудрявцев, нередко посещавший Выксу, называл его Нероном Ардатовского уезда; он находил в чертах Ивана Шепелева много общего с Нероном, судя по мраморному его бюсту, сделанному каким-то известным художником в Риме и по его портрету, нарисованному известным Брюловым. И бюст, и портрет сохранились на Выксе.

Я застал еще многих из приближенных Ивана Дмитриевича; между прочим, проживала на Выксе и главная его султанша Шамарыгина, получившая не задолго до его падения вольную и вышедшая уж при мне замуж за какого-то горного офицера. Такой красавицы редко случалось мне видеть. С бывшими прикащиками и прислугой приходилось мне нередко беседовать об их прежнем господине. На вопрос мой, что было бы, если бы они узнали, что он возвращается в свое поместье, я почти всегда слышал одинаковый ответ: «Мы двинулись бы толпой к Досчатому (деревня, где переезжают Оку), выпрягли бы лошадей из коляски и привезли бы сюда Ивана Дмитриевича на руках». Слова эти показывают, до какого глубокого растления способно было довести людей крепостное право. Ивана Шепелева глубоко ненавидели, но, несмотря на то, время его управления Выксунскими заводами считалось золотым временем, — разумеется не

для всех, но для окружающих его челдинцев; это потому, что при беспутном его хозяйстве, при его безграничном мотовстве была полная возможность грабить, сколько угодно; воровство совершалось не по мелочам, а в грандиозных размерах; не подлежит сомнению, что если Иван Дмитриевич разорился, то одною из причин этого было происходившее на его глазах хищничество. Иногда, но лишь крайне редко, удавалось ему нападать на следы слишком явного грабежа, и тогда он свирепствовал, как показывает упомянутый мною выше поступок его с одним из проворовавшихся управляющих; но ведь подобные случаи были исключением, впечатление его кровавых экзекуций сглаживалось,—и все шло попрежнему.

К концу сороковых годов Выкса была обременена неполатыми казенными и частными долгами. Как ни слабохарактерен был брат Ивана Шепелева—Николай, его убедили, наконец, обратиться к Правительству с просьбой о назначении опеки, что и увенчалось успехом. Иван Дмитриевич, признанный расточителем, получил приказание выехать из Выксы и поселился в Москве, в своем доме на Швивой горке, получая весьма скромную сумму на свое содержание, а опекуном его был назначен родственник Шепелевых по своей жене—Василий Александрович Сухово-Кобылин¹⁾. Он находился когда-то в военной службе, участвовал в войнах с Наполеоном, имел Георгиевский крест, а затем, поселившись в Москве, состоял уездным предводителем дворянства. Человек почти вовсе необразованный, на вид несколько суровый, но в сущности добродушный, он отличался большим здравым смыслом и нравственными своими качествами внушал к себе общее уважение. С прибытием его на Выксунские заводы, все тамошние порядки подверглись тотчас же коренной перемене.

Вот к этому то времени и относятся мои летние посещения Выксы. Все в ней смутно напоминало прежний блеск и носило следы крайнего разрушения. В доме, который, по размерам его, можно было без особой натяжки назвать дворцом, стояла довольно жалкая мебель; на стенах висело несколько сомнительного достоинства картин,—все, что было получше, давно пошло в продажу; некоторые комнаты были оклеены дорогами, хотя и поблекшими обоями, а в других обои были только что приличны; с одной стороны дома тянулась длинная галлерей, которая в прежнее время утопала в цветах, а теперь от ветхости и хо-

1) В. А. Сухово-Кобылин был женат на Марье Ивановне Шепелевой, дочери Ивана Дмитриевича Шепелева и кузине Ивана и Николая Дмитриевичей Шепелевых; приглашение его опекуном на Выксу было вызвано, по словам княгини А. Д. Голицыной, рожд. Шепелевой, не только узами родства и дружбы с детства, но и глубоким уважением к личности Сухово-Кобылина («Истор. Вести.» 1890 г., № 10, стр. 235 — 236).

доть по ней ни у кого не хватало отваги; в праздничные дни, по заведенному порядку, играл за обедом хор музыкантов, но костюм их показывал, что они давно уже обречены на печальное существование. Опекун Сухово-Кобылин поступил весьма разумно, решившись тратить как можно меньше на ремонт господского помещения, ибо прежде всего надлежало извлечь самые заводы из их бедственного упадка, заботиться о необходимом и существенном, а не о прихотях. Конечно, дело, за которое он взялся, было для него совершенно ново, и не раз приходилось мне слышать, что ведет он его не так, как-бы следовало, что на каждом шагу обнаруживает он недостаток необходимых сведений, что напрасно не привлекает он к себе людей, которые могли бы ему помочь в этом отношении, что для чугуноплавительных заводов нельзя иметь только одного механика, человека очень честного, но почти самоучку. Все это так, — тем не менее, Сухово-Кобылин принес существенную пользу; это был хозяин в настоящем смысле слова, исполнявший свои обязанности, несмотря на преклонные лета, с неутомимою энергиею; важно было уже то, что он установил строгий порядок там, где господствовал возмутительный хаос.

Жилось на Выксе очень приятно. Летом съезжалась туда вся семья старика Кобылина, — дочь его, известная писательница графиня Салиас ¹⁾, другая его дочь Софья Васильевна ²⁾, очень умная девушка, с большим успехом занимавшаяся живописью; она всегда приглашала для совместных занятий художников, между которыми главным ея руководителем был Егор Мейер ³⁾. Нас, молодых людей, пленяли две замечательные красавицы, еще очень молодые девушки, — графиня Ида Ивановна Кутайсова, дочь графа Ивана Павловича ⁴⁾, и княжна Ольга Голицына ⁵⁾,

1) Графиня Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, известная писательница «Евгения Тур»; Феоктистов, еще студентом, был близок к ее семье, в которой был домашним учителем.

2) С. В. Сухово-Кобылина (род. 1825 г., ум. в Черномском уезде Тульской губернии 25 сентября 1867 г.) большую часть жизни провела за границею, проживая в Риме («Русск. Арх.» 1901 г., кн. III, стр. 58; см. еще «Васильки. Историко-Литературный сборник», С.-Пб. 1901 г., стр. 421 и след.; В. И. Чернопятов, Тульский Некрополь, М. 1912 г., стр. 154). Ею написано «Воспоминание о последних днях жизни архимандрита Порфирия, настоятеля Российской посольской церкви в Риме», напечатанное в «Страннике» 1867 г., № 5 (и отд. изд.).

3) Егор Егорович Мейер, академик-пейзажист, ум. в Петербурге 29 января 1867 г.

4) Графиня Ида Ивановна Кутайсова (род. 27 октября 1836) в ноябре 1854 г. вышла замуж за кавалергардского офицера князя Бориса Андреевича Голицына, но через год умерла от родов — 8 октября 1855 г.

5) Княжна Ольга Алексеевна Голицына (род. 16 сентября 1838 г.), дочь князя Алексея Алексеевича Голицына от брака его с графиней Александрой Павловной Кутайсовой (род. 1804, ум. в Брюсселе в 1881 г.), в 1861 г. вышла замуж за Бельгийского графа Раймунда Корнэ-де-Грэ.

дочь его сестры, княгини Александры Павловны, вышедшая потом замуж за какого-то Бельгийского графа и, кажется, уже никогда не возвращавшаяся в Россию.

Говоря о Выксунских обитателях, нельзя не упомянуть о самом владельце поместья, Николае Дмитриевиче Шепелеве. То было совершенное подобие Тентетникова, изображенного Гоголем во второй части «Мертвых душ», — с тою только разницей, что Тентетников, по уверению Чичикова, занимался сочинением истории русских генералов, а Николай Шепелев не способен был ровно ни к какому занятию. Жизнь его протекала весьма однообразно: просыпался он не ранее 12-го часа и долго лежал в постели с трубкой во рту; он был очень рад, если в это время кто-нибудь заходил к нему, и следовательно являлась возможность убить время в бессодержательной болтовне; затем часу в четвертом являлся он к обеду, а после обеда играл на бильярде; вечером же всегда устраивался или пикник, или гулянье на лодках и т. п. Когда же все расходился спать, для Николая Дмитриевича наступало время настоящего бодрствования; при нем состояли два камердинера — дневной и ночной; обязанности последнего считались особенно важными, так как он должен был до трех часов утра, а иногда и позднее непрерывно набивать трубку и держать наготове горячий самовар. В жизни моей не встречал я человека, который поглощал бы такое количество чая и выкуривал бы столько трубок, как Николай Дмитриевич! Единственно в этом и состояло его ночное бедствие. Если бы, по крайней мере, по ночам он читал что-нибудь, — нет! Как-то в течение целого лета валялась в его комнате только одна книга: «Ледяной дом» Лажечникова, да и то, кажется, без всякого употребления. Он или лежал на диване, или ходил из угла в угол, как будто погруженный в глубокую думу, но действительно-ли он думал о чем-нибудь, — этого никто не мог угадать. По временам, однако, Николаем Дмитриевичем вдруг овладевала судорожная деятельность, а именно, когда возникал вопрос об устройстве домашнего спектакля; он смотрел на это, как на дело величайшей важности; удовольствие превращалось для всех в мучение; он сидел почти безвыходно в театре, созывал на репетиции чуть ли не по два раза в день, приходил в отчаяние, когда относились к этому не совсем серьезно, надоедал каждому из нас бесконечными совещаниями о том, как надо гримироваться, какой надеть парик и т. п. В эти тяжкие для него дни несчастный заметно даже худел, ибо днем находился в лихорадочном возбуждении, а по ночам все-таки накачивал себя чаем и выкуривал бесчисленное число трубок. А уж что происходило в самый день спектакля, об этом и говорить нечего...

Лет восемь или девять управлял В. А. Сухово-Кобылин Выксунскими заводами и значительно поправил их. Конечно, по-

прежнему обременены были они громадными долгами, но являлись надежды, что при соблюдении строгой экономии и порядка удастся, хотя и не скоро, извлечь их из бедственного положения. К сожалению, не суждено было этому осуществиться. Вскоре начали обнаруживаться зловещие признаки события, которое разсеяло в разные стороны Выксунское общество.

Кто мог бы подумать, что катастрофа будет вызвана любовной интригой?—но еще страннее, что героем романа явился человек, уже переступивший семидесятилетний возраст. Лукавый попутал старика Кобылина. Он влюбился, как только могут влюбляться едва оперившиеся юноши или выжившие из ума старцы,—влюбился до глупости, до забвения всяких приличий, и предметом его страсти была какая-то Заварыкина, жена проживавшего на Выксе мещанина. Последствием сего были (прежде всего) семейные драмы, ибо тайна престарелого селадона не могла укрыться от его супруги, Марии Ивановны, которая, несмотря на свои шестьдесят лет, прониклась неистовою ревностью. Эта женщина, урожденная Шепелева, представляла собой тоже довольно оригинальное явление. Говорили, что в молодости она отличалась красотой; следы красоты она сохраняла и в то время, когда я познакомился с ней, но едва ли когда-нибудь красота эта была привлекательна; уж слишком поражала Мария Ивановна отсутствием всякой женственности, чем то грубым и резким во всей своей фигуре. Она похвалялась, что в девичьи свои годы сама обвезжала лошадей и ходила с ружьем на охоту,—под старость она конечно, уж не предавалась этим занятиям, но за то не выпускала изо рта сигару. Помещица она была суровая: крепостным приходилось у нее очень жутко, но так как преподавателями у ее детей были когда-то люди, занимавшие более или менее видное положение в ученом мире,—между прочим, известный Н. И. Надеждин ¹⁾ и Ф. Л. Морошкин ²⁾),—то Мария Ивановна не прочь была побеседовать о предметах, вызывающих на размышление, и даже прочесть ту или другую серьезную книгу. Нередко после расправы с горничными и лакеями, когда пощечины щедро расточались ею направо и налево, она закуривала сигару и усаживалась на диване с французским переводом философии Шеллинга в руках. Более странного сочетания мнимой образованности и самых диких крепостнических привычек не случалось мне встречать на моем веку. В. А. Сухово-Кобылин давно уже охладел к подруге своей жизни или даже возненавидел ее, но она никак не хотела оставить его на покое. И это

1) О вечерах у Сухово-Кобылиных и о романе Надеждина и Елизаветы Васильевны Сухово-Кобылиной (впоследствии графини Салиас) см. в книге Н. К. Козмина: Н. И. Надеждин, С.-Пб. 1912, стр. 458—525.

2) Профессор Федор Лукич Морошкин преподавал Е. В. Сухово-Кобылиной Русскую историю.

вовсе не потому, чтобы сохранила к нему сколько-нибудь нежные чувства, — необузданная ее натура никак не допускала ее примириться с мыслью, что какая-то Заварыкина разыгрывает роль барыни. Каждый приезд ее на Выксу ознаменовывался безобразными сценами, а поводов к тому было не мало. Василий Александрович все более и более становился посмешищем для Выксунского люда; в торжественные дни, как, например, в именины своей возлюбленной, он являлся у нее не иначе, как во фраке и с орденами, — и это в обществе разных писарей, прикащиков и т. п. Но это еще мелочи. Худо было то, что достойный супруг фаворитки сделался настоящим кровопийцей Выксы; мало по малу он все забрал в свои руки; с ним заключаемы были невероятные по невыгодности для заводов контракты; одуревший опекун ничего не предпринимал без его согласия, а тот бестыдно набивал себе карман. Кончилось тем, что прислана была комиссия для ревизии Выксунского управления, — и В. А. Сухово-Кобылин вынужден был покинуть свое место. Сам он не попользовался ни одной копейкой, — никому не приходило в голову упрекнуть его в этом, — тем не менее, он оставил по себе печальную память. Перед отъездом его с Выксы Заварыкин, желая еще чем-нибудь от него поживиться, внезапно прозрел, убедился, что жена его находилась в преступных с ним отношениях, заручился его корреспонденцией с ней и требовал несколько тысяч отступного, угрожая старику, в случае отказа, преследовать его за прелюбодеяние.

По удалении Сухово-Кобылина дела не только не улучшились, но пошли еще хуже. Впрочем с тех пор мне уже не случалось бывать на Выксе, а только слышал я со всех сторон об окончательном разорении этого некогда славного поместья. Несчастный Николай Шепелев переехал в Москву и влачил до своей смерти (брат его умер еще прежде) печальное существование, нуждаясь иногда даже в самом необходимом.

Лет десять спустя прочитал я в газетах известие, что в Муроме происходило торжественное освящение храма, в сооружении коего принимал деятельное участие один из именитых Муромских граждан, городской голова Заварыкин; на обеде пили его здоровье и хор певчих пел ему многая лета; к торжеству этому как-то примазался и другой достойный муж, известный своими похождениями генерал Е. В. Богданович¹⁾.... Злая ирония судьбы! Поверил ли бы Иван Родионович Баташев, если бы кто-нибудь

1) Евгений Васильевич Богданович, генерал-от-инфантерии, член Совета Министра Внутренних Дел, сделавший карьеру на издании патриотических брошюр, религиозных книг и подобных изданий, на посылке приветственных телеграмм высокопоставленным лицам и т. д.; умер 30 августа 1914 г., 85 лет от роду.

предсказал ему, что станется с его громадным состоянием? Ближайший его потомок, забытый всеми, сошел в могилу почти в нищете, а кулак, торговавший своей женой и грабивший Выксу, преспокойно пользовался плодами своих позорных подвигов! Впрочем, что же тут удивительного? Разве мало таких страниц в истории нашего дворянства?

Выкса отвлекла меня, однако, далеко в сторону. Я хотел говорить об Александре Сухово-Кобылине, сыне Василия Александровича, и увлекся воспоминаниями о Выксунских заводах только потому, что там впервые познакомился с ним и имел возможность хорошо его изучить.

Не подлежит сомнению, что это был человек очень умный, а о способностях его свидетельствует уже написанная им комедия¹⁾; окончил он курс в Московском Университете и даже при выпуске получил золотую медаль; он много путешествовал, любил серьезное чтение, — словом, все, повидимому, сложилось в его пользу, а между тем едва ли кто-нибудь возбуждал к себе такое общее недоброжелательство. Причиной этого была его натура, — грубая, нахальная, несколько не смягченная образованием; этот господин, превосходно говоривший по-французски, усвоивший себе джентельменские манеры, старавшийся казаться истым Парижанином, был, в сущности, по своим инстинктам, жестоким дикарем, не останавливавшимся ни пред какими злоупотреблениями крепостного права; дворня его трепетала. Мне не раз случалось замечать, что такие люди, отличающиеся мужественною красотой, самоуверенные до дерзости, с блестящим остроумием, но вместе с тем совершенно бессердечные, производят обаятельное впечатление на женщин. Александр Кобылин мог похвалиться целым рядом любовных похождений, но они же его и погубили.

Еще за несколько лет до того, как я познакомился с ним, он привез из Парижа Французенку m-lle Симон, которая страстно его любила²⁾. Мне случалось встречаться с ней довольно часто. Она была женщина уже не первой молодости, но сохранила следы замечательной красоты, не глупая и умеющая держать себя весьма прилично. О такте ее свидетельствует то, что ей удалось снискать расположение всех родственников Кобылина, которые убедились,

1) Знаменитая «Свадьба Кречинского»; главным образом эта популярная комедия послужила поводом для избрания А. В. Сухово-Кобылина (25 февр. 1902 г.) в Почетные Академики Разряда изящной словесности Академии Наук. Наиболее цельный и ценный очерк жизни и литературной деятельности Сухово-Кобылина принадлежит С. А. Переселенкову — в «Ежегоднике Петроградских Государственных Театров», сезон 1918-1919 г., под ред. А. С. Полякова, Пгр. 1922, стр. 125—156.

2) О Симон Деманш и ее убийстве см. статьи А. А. Голомбиевского «Драма из жизни писателя» — «Русск. Арх.» 1900 г., № 2, и другие статьи, перечень коих см. в указанной статье С. А. Переселенкова, стр. 138—139 и 154 (прим. 44).

что ею руководит искреннее чувство, а не какие-нибудь корыстные расчеты. Вполне довольна своею судьбою она не могла быть, потому что Кобылин часто изменял ей, но так как каждое его увлечение длилось недолго и он все-таки возвращался к ней, то после более или менее бурных сцен наступало примирение. В 1850 году одна из любовных его интриг возбудила в ней, впрочем, сильное беспокойство. В это время в Московском *beau-monde*'е засияла новая звезда — Надежда Ивановна Нарышкина, урожденная Кнорринг, которая многих положительно сводила с ума¹⁾; поклонники этой женщины находили в ней необычайную прелесть, на мой же взгляд она далеко не отличалась красотой: небольшого роста, рыжеватая, с неправильными чертами лица, она приковывала к себе внимание главным образом какою-то своеобразною грацией, остроумною болтовней и тою самоуверенностью и даже отвагой, которая свойственна так называемым «львицам». Н. И. Нарышкина страстно влюбилась в Кобылина, и в обществе уже ходили слухи об их интимных отношениях, а вскоре отношения эти перестали быть тайной для кого бы то ни было, вследствие страшного события: за одной из Московских застав, недалеко от кладбища, m-lle Симон найдена была убитой²⁾.

Кто совершил это преступление?

Процесс длился очень долго, и я не считаю нужным останавливаться подробно на этой в высшей степени любопытной странице нашего тогдашнего уголовного судопроизводства³⁾. Ограничусь только своими личными впечатлениями. Тотчас же образовались два мнения: одни утверждали, что убийца был Кобылин, и дело, по словам их, происходило таким образом. Дом свой на Страстном бульваре отдал он в распоряжение своей сестры, г-жи Петрово-Соловово, приехавшей на зимние месяцы в Москву, а сам поместился во дворе того же дома, во флигеле, куда и приезжала к нему по вечерам m-me Нарышкина; однажды m-lle Симон (она жила на углу Тверской и какого-то, — кажется, Газетного, — переулкa), давно уже следившая за своею соперницей, сумела в поздний час проникнуть к своему возлюбленному; с проклятиями и ругательствами набросилась она на них, и Кобылин пришел в такую ярость, что ударом подсвечника или чего-то другого уложил ее наповал. Затем склонил он деньгами прислугу вывезти ее за город. Для всякого, кто имел понятие о необузданной на-

1) Жена умершего в 1855 г. Александра Григорьевича Нарышкина; в 1865 г. она вышла вторично замуж — за известного писателя Александра Дюма-сына и умерла 21 марта 1895 г., 69 лет (см. «Русский Некрополь в чужих краях», вып. I, Пгр. 1915, стр. 31; «Русск. Арх.» 1910 г., кн II, стр. 315).

2) Убийство совершено было 9 ноября 1850 г.

3) Некоторые черты его отражены в драме Сухово-Кобылина «Дело» (1869).

туре Кобылина, не представлялось в этом ничего несбыточного. Другая версия была следующего рода: m-lle Симон, подобно многим иностранцам и иностранкам, приезжавшим в Россию, обращалась крайне придирчиво и сурово с прислугой, отданною в ее распоряжение Кобылиным; беспрерывно раздражала она его своими жалобами, а он расправлялся с этими несчастными по-своему, и, доведенные наконец до крайней степени озлобления, они решились умертвить женщину, которую считали главной виновницей своей печальной судьбы. Опять таки и это было весьма правдоподобно. В пользу последнего предположения говорило то обстоятельство, что люди, находившиеся в услужении у m-lle Симон, вскоре после того, как посадили их в острог, сами сознались в совершенном ими преступлении. Через несколько времени они заявили, однако, что сознание это было вынужденное, что Кобылин сулил им через кого-то всякие блага, если они примут вину на себя, и уверял, что их подведут под всемилостивейший манифест. Не подлежит сомнению, что следователи играли с самого начала крайне гнусную роль: с одной стороны они боялись генерал-губернатора графа Закревского, который не сомневался в виновности Сухово-Кобылина, а с другой Кобылин представлял для них чрезвычайно лакомый кусок. Помню, что однажды вечером, в самом начале этой истории, beau-frère его М. Ф. Петрово-Соловово¹⁾, приехавший со свидания с главным следователем Троицким, рассказывал при мне, что Троицкий запросил 30.000 руб., чтобы снять с Кобылина всякую тень подозрения. Вообще на деньги не скупился.

Скандал был чрезвычайный. Нарышкина сделалась притчею во языцех; ужасные минуты переживал ее муж, человек, пользовавшийся общим уважением, имя которого вдруг послужило предметом самой отвратительной хроники. Что касается Кобылина, то из разговоров, которые приходилось мне слышать, я мог убедиться, что за крайне редкими исключениями никто не принимал его сторону, — такое успел он внушить к себе отвращение. Вскоре посадили его под арест на гауптвахту, затем выпустили, а через несколько времени новая следственная комиссия опять его арестовала.

Я был очень молод, когда происходило все это; в то время я оканчивал курс в Московском Университете; родственники Кобылина, с которыми приходилось мне видаться беспрерывно, не могли, конечно, не влиять на меня своими суждениями и рассказами, — не удивительно поэтому, что я был готов считать Кобылина непричастным к убийству m-lle Симон. Впоследствии зародились, однако, у меня сомнения, — главным образом по следующим соображениям: Кобылин не жалел денег, чтобы обелить

1) Женатый на сестре А. В. Сухово-Кобылина, Авдотье Васильевне.

себя; он нашел сильных покровителей, сестра его Софья Васильевна получила доступ к великой княгине Марии Николаевне, которая отнеслась очень сочувственно к несчастию, постигшему ее семью; даже граф Закревский совершенно изменил свой взгляд на дело; Министерство Юстиции прислало из Петербурга особых чиновников для пересмотра следствия, — тем не менее, несмотря ни на какие старания и хлопоты, Кобылин отделался лишь тем, что одинаково и его, и людей, которые служили m-ше Симон, оставили в сильном подозрении. Никто не оказался виновным. Как же было не усомниться, что тяжкий грех остался на душе Кобылина! Но при этом возникает предо мной его фигура в те дни, когда было обнаружено преступление: нельзя представить себе, какое страшное отчаяние овладело им при известии о насильственной смерти женщины, которая в течение многих лет питала к нему безграничную преданность. Этот суровый человек рыдал, как ребенок, непрерывно повторялись у него истерические припадки, он говорил только о ней и с таким выражением горя и любви, что невозможно было заподозрить его искренность. Неужели все это была только комедия, которую с утра до ночи разыгрывал он перед своею матерью и сестрами? И затем, когда потребовали его к допросу, когда прямо высказали ему, что считают его убийцей, он отнесся к этому с негодованием и яростью, едва ли свойственными преступнику. Но если даже и заподозрить его в притворстве, — хотя самый лучший актер не сумел бы с таким искусством и в течение столь продолжительного времени разыгрывать роль, — что сказать о Нарышкиной? С того дня, как огласилось убийство, она почти не покидала Кобылина, находилось постоянно в обществе его родных и ни единым словом, ни единым мускулом своего лица не обнаружила, чтобы была сколько-нибудь причастна к страшной тайне. Неужели и она могла с таким поразительным самообладанием носить личину?

Вообще, событие, которого я коснулся здесь, представляется для меня неразрешимую загадкой.

После судебного приговора Кобылин вовсе отшатнулся от общества или, вернее, — общество отшатнулось от него. Озлобленный, проживал он большею частию в деревне, изрыгая проклятия на Россию, которая сделалась ему особенно ненавистна после отмены крепостного права. Так как пребывание в Москве оказалось для Нарышкиной невозможным, то она уехала навсегда за границу, где вышла замуж за известного романиста Александра Дюма-сына.

Кроме «Свадьбы Кречинского», Кобылин написал еще две пьесы¹⁾, не обнаруживавшие ни малейшего таланта; вместо

1) «Дело» и «Смерть Тарелкина». Б. М.

сколько-нибудь живых лиц, являются в них грубо намалеванные каррикатуры, и единственная цель этих жалких произведений заключалась в том, чтобы заклеить господствовавшие у нас до пятидесятих годов порядки, хотя, — я убежден в том, — если бы задумал автор изобразить порядки, пришедшие им на смену, то злоба его выразилась бы еще рельефнее. Шумскому очень хотелось бы (это было уже в конце шестидесятих годов) воспользоваться пьесой «Дело» для своего бенефиса. «Как вам пришло это в голову?—спрашивал я его: «Разве вы не видите, что это полнейшая бездарность?...» — «Конечно вижу, отвечал он, тем не менее пьеса имела бы большой успех; у нас теперь публика не требовательна; выйди только актер на сцену, да скажи громко: «Все губернаторы дураки», — так театр разнесут от восторга»...
